

Борис Савинков: «подпольная» и «легальная» Россия в перипетиях одной судьбы

«Подпольная Россия» — так назывался бестселлер А. Степняка-Кравчинского, террориста и писателя, разрешенный к изданию в России только в годы первой русской революции. Это история людей из другого мира, людей, говоривших на своем особом языке, исповедовавших свою особую религию, признававших особую систему моральных ценностей. А между тем герои «Подпольной России», как и сам Степняк, реально были гражданами Российской империи, росли в благонамеренных семьях, учились в гимназиях и университетах. Они сознательно отреклись от этого мира и, желая уничтожить его, перешли в иной — «в «подпольную Россию».

Российскую интеллигентную молодежь всегда манила эта загадочная страна, призванная воплотить в жизнь утопии мечтателей-социалистов: страна молодых и сильных, страна идеальных отношений, общество, устремленное в будущее. Переход в этот мир, отказ от России легальной, являлся чем-то вроде инициации — превращения в настоящего человека, взрослого, способного нести ответственность за себя и за других.

«Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос.

«О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?»

— Знаю, — отвечает девушка.

... «Отчуждение, полное одиночество?»

— Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

«Не только от врагов, но и от родных, от друзей?»

— Да... и от них.

«Хорошо. Ты готова на жертву?»

- Да.

«На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто-никто не будет даже знать, чью память почтить?»

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления... Мне не нужно имени.

«Готова ли ты на преступление?»

Девушка потупила голову.

— И на преступление готова.

...«Знаешь ли ты... наконец, что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?»

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

«Войди!»

Девушка переступила порог, и тяжелая завеса упала за нею.

«Дура!» — проскрежетал кто-то сзади.

«Святая!» — пронеслось откуда-то в ответ»¹.

«Пронеслось откуда-то в ответ» — как-бы голос Свыше, голос Истины. Конечно, сам Тургенев, автор стихотворений в прозе, тоже скажет: «святая». И очень многие граждане России легальной повторяют это слово. Ибо несмотря на то, что между двумя Россиями — «тяжелая завеса», подполье не могло бы существовать без поддержки и сочувствия «верха». Более того, оно являлось его двойником, его *Зазеркальем*. Перевернутый мир людей, отвергнутых официальной Россией, опирался на такие ценности, как идея революции, воспринимаемая большинством в качестве основы новой религии; жесткая иерархия власти (партия); интернационализм, понимаемый как негативное определение некой новой квазиэтнической общности «отверженных». Россия в своем предельном самоотрицании. Но — те же люди, те же методы...

Один из лидеров «Земли и Воли», А. Михайлов (1856— 1884), оставил характерный документ подполья — завещание друзьям по борьбе. «Завещаю вам, братья, контролируйте один другого во всякой практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни. Это спасет вас от неизбежных для каждого отдельного человека, но губительных для всей организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обидным... Необходимо знать всем ближайшим товарищам, как человек живет, что он носит с собой, как записывает и что записывает... Изучайте друг друга. В этом сила, в этом совершенство отправления организации»². Так формировались традиции боевого подполья. Но это — для внутреннего употребления. «Подпольная Россия» хранила свои секреты, однако Герои подполья, Идеалы подполья проникали «наверх», завоеывая в российском обществе новых адептов революционного выбора.

Тамбовские мужики служили молебны о здравии рабы божьей Марии (Спиридоновой)³, ее же портрет находили при обысках «на месте, где полагается быть иконам»⁴. Русские девушки ждали идеального возлюбленного, Волшебного Принца, который должен был явиться из «подпольной России».

На руках у него след оков и цепей...

И в далеком, холодном краю

Он страдал за других, как Христос за людей —

Тот, кого я люблю...⁵.

Сами радикалы старательно творили миф о революционере. Степняк-Кравчинский рисовал его так: «Сумрачная фигура, озаренная, точно адским пламенем, которая, с гордо поднятым челом и взором, дышавшим вызовом и мстостью, стала пролагать свой путь среди устрешенной толпы, чтобы выступить твердым шагом на арену истории»⁶.

Известный народоволец П. Якубович-Мельшин создал бессмертный образ революционного самоотречения:

Смиряли ль вы со злобой беспощадной

Кипенье сил и крови молодой,

И ваше Я, божка с утробой жадной,

Убили ль собственной рукой?⁷

И сочувствующие подполью, и сами революционеры вместе творили образ

¹ Тургенев И. С. Порог. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Т. 13. М.-Л., 1967, с. 168—169.

² «Блестящая плеяда». М., 1989, с. 576.

³ Мещеряков Вл. Партия социалистов-революционеров (П. С. Р., партия эсеров). Очерки по истории возникновения, развития и развала П. С. Р. М., 1922, с. 60.

⁴ Петрищев А. Успокоение. «Русское Богатство». 1907, № 12, с. 85.

⁵ Галина Г. Предрассветные песни. СПб., 1906, с. 8—9.

⁶ Степняк А. Подпольная Россия. СПб., 1907, с. 17.

⁷ Якубович -Мельшин П. Стихотворения, т. 1. СПб., 1910, с. 183—184.

Общественного Героя — *Идеальный Тип*, признанный таковым и в той, и в другой России.

Накануне первой русской революции мыслящее население страны вполне отдавало себе отчет в том, что государство раздвоилось, что общество раскололось. Радикально настроенные граждане считали, что «вся духовная работа совершалась в подпольной сфере. Извне с величайшими усилиями еще достигалось всеобщее обязательное молчание, а внутри организма шла деятельная работа, упорная, энергичная, шел основной пересмотр устоев, разрушительная критика, расчистка новых путей...». «Этот термин — писал автор журнала «Образование» в 1905 году, имея в виду «подполье» — присвоен у нас лишь крайним фракциям, но жизнь видоизменила позиции общественных сил, и скрыться с горизонта пришлось решительно всем культурным элементам»⁸.

Таким образом, каждый «культурный элемент» вставал перед выбором: либо заниматься «пересмотром устоев» в рамках «подпольной России», либо... Казалось, второе «либо» распадается на множество возможностей. Однако до 1905 года российский интеллигент, склонявшийся к этому, последнему выбору, автоматически становился изгоем в собственной среде, шел против господствующего течения. Выбор «легальности», между прочим, тоже требовал определенного мужества.

Практически каждый российский интеллигент решал для себя вопрос «гражданства»: выбирал между Россией подпольной и легальной. Кто-то останавливался на «двойном гражданстве», но это было только оттяжкой окончательного решения. Следуя по этому пути, два талантливых человека одновременно подошли к порогу «подпольной России» и вступили на него руку об руку. В это время они отбывали ссылку в Вологде: будущий замечательный писатель А. Ремизов и будущий руководитель боевой организации партии социалистов-революционеров Б. Савинков. В ссылке Ремизов окончательно решил: «... на «подпольное» и «партийное» дело не гожусь, меня тянет на простор — на волю, без оглядки»⁹.

Савинков тоже хотел «простора», но по-другому, иначе, чем Ремизов. В нем как бы жило два человека: один — гражданин «подпольной России», ее Герой и слуга; второй, подобно Ремизову, хотел «простора», не вмещался в партийные рамки. Этот «второй» вырвался на свет божий под именем В. Ропшина (литературный псевдоним Савинкова). Савинков — организатор «большого террора». Ропшин — автор романов, нанесших сокрушительный удар по «подпольной России». Две России — подпольная и легальная — сошлись в одном человеке.

Савинков-Ропшин — символ раздвоенной России, их судьбы неразделимы.

* * *

Но соответствовал ли Савинков тому образу идеального Героя, который создавало подполье вместе с сочувствующей легальной Россией? Скорее всего, нет. Эмоциональный, жертвенный, какой-то «не от мира сего» И. Каляев — соответствовал; чистая, юная, готовая на любые жертвы М. Спиридонова — безусловно, Героиня. Недаром ее облик прочитывается за многими «идеальными девушками» из апологетической революционной беллетристики. Спиридонову не просто уважали, ее любили, о ней говорили с нежностью. А Савинков? Холодный, расчетливый профессионал от терроризма. Он не бросает бомбу, не гибнет вместе с убитой жертвой. Он всегда в тени, но именно от воли и организаторского таланта этого человека зависит успех всего дела. Профессионал-убийца не мог претендовать на статус Общественного Героя, ибо дискредитировал миф о жертвенном терроризме. А без *Жертвы* идеология терроризма в глазах большинства людей лишалась своего главного оправдания, становилась аморальной.

⁸ Ашешов Н. Из жизни и литературы. «Образование», 1905, № 2, с. 30.

⁹ Р е м и з о в А. Иверень (главы из книги). «Север», 1991, № 3, с. 84.

Оценка, которую давали ему современники, очень далека от светлого и достаточно однозначного образа Общественного Героя. Кажется, наиболее интересное мнение о Савинкове высказал его товарищ по вологодской ссылке Ремизов: «Савинков чувствовал себя роковым — да он и был роковым. Его явление в мире было отмечено, он был избран среди позванных... Мимо него нельзя было пройти. И всякая другая воля непременно натыкалась на его волю. И он знал только свою и не допускал ничью. Всякая другая воля, если она не склонялась перед ним, мешала ему...». И в итоге: «Савинковым нельзя сделаться, Савинковым надо родиться»¹⁰.

Может быть, так оно и есть. По крайней мере в оценке Савинкова как некоего рокового явления Ремизов не одинок. Так, М. Волошин подходит к нему с той же меркой:

Холодный рот. Щеки бесстрастной складки,
И взгляд из-под усталых век...
Таким сковал себя железный век
 В страстных огни и бреде лихорадки...
Но сквозь лица пергамент сероватый
Я вижу дали северных снегов,
И в звездной мгле стоит большой сохатый,
Унылый лось с крестом между рогов.
Таким ты был. Бесстрастный и мятежный —
В руке кинжал, а в сердце крест;
Судья и меч... с душою снежно-нежной —
На всех путях хранимый волей звезд¹¹!

С трудом преодолевая обаяние ремизово-волошинских обобщений, приходится признать: перед нами некий антимиф, который интеллектуалам «серебряного» века импонировал гораздо больше, чем миф о Герое из «подпольной России», каким его культивировала революционная среда. Никому не могло бы прийти в голову назвать Каляева или Спиридонову «роковыми» фигурами; что же касается Савинкова, черта рока являлась самым существенным элементом окружавшего его ореола славы. Между тем, строго говоря, «роковым» человеком, человеком судьбы был именно Каляев: каждый его шаг неразрывно связан с предшествующим и определяет следующий. Каляев подчинился своему року, заранее предчувствуя конец этого пути, был не в силах сопротивляться или помыслить саму возможность сопротивления.

Детерминированность собственного пути Роком чисто античной могущественности хорошо увязывается и с другими проявлениями вполне *традиционалистской* фигуры Каляева. Его соответствие идеалу Общественного Героя в точности совпадает с описанными Л. Баткиным признаками лидера в *средневековом* обществе: он выделяется не своей уникальностью, а максимальной воплощенностью предъявляемых обществом нормативных качеств и свойств, своей «стандартностью» высочайшей пробы¹². Общественный Герой традиционалистского общества (и «подпольной России») — это, конечно же, «первый среди равных».

Не то Савинков. В нем недостает этой образцовости, близости идеальному канону. В стихотворении Волошина фигура Савинкова проецируется на Космос, последнюю оболочку античного царства Рока. Более того, он — не «один из», но уникальный реликтовый зверь, отмеченный особым знаком. В конце стихотворения происходит полное преобразование образа Савинкова. Рок — это отныне *он сам*, «судья и меч» (орудие рока не могло быть судьей), его судьба связана с высшими силами, хотя и максимально автономна: «хранимый волей звезд».

Итак, на наших глазах рождается новая поэтика личности (собственно,

¹⁰ Ремизов А. Указ. соч., с. 72.

¹¹ Волошин М. Облики. 1. Ропшин. «Русская мысль», 1917, кн. XI—XII, с. 135.

¹² См. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.

поэтика личности Нового времени), видимо, не случайно импонирующая людям культуры «серебряного» века.

Акмеисты — предшественники экзистенциализма как философии прорыва человека из мира обыденного существования в бескрайние глубины Бытия в некоей пограничной ситуации («смерть», «диалог», «революция» и пр.) — дают ключ к загадке притягательности и актуальности фигуры Савинкова. Точка акмэ, внезапного «пробоя» между Космосом и Роком, с одной стороны, и обычным человеком — с другой, создает трагедийный накал существования человека, на плечи которого обрушилась неподъемная тяжесть: бытие в новом контексте. На мой взгляд, суть этой трагедии в том, что в его руках оказывается *собственный рок*...

Однако фигура Савинкова-Ропшина плохо укладывается в схемы. Он существовал где-то на перекрестке мифов и антимифов. Достаточно вспомнить, что непосредственным руководителем Савинкова в боевой организации эсеров был знаменитый провокатор Е. Азеф, и савинковская воля смирялась перед волей этого человека. Беспринципный, аморальный Азеф в каком-то смысле являлся Роком Савинкова.

Их связывала не только борьба, но и личная дружба. В ходе партийного суда (собственно, суд собрался по делу В. Бурцева) Савинков заявил: «Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером и твердым решительным человеком»¹³. Удивительно, но Савинков предлагает вместо образа реального Азефа стандартный образ Общественного Героя. Савинков слеп, он не желает признавать очевидного. Разоблачение Азефа явилось для него ударом во сто крат более тяжелым, чем, скажем, гибель личных друзей-террористов, например Каляева.

Разоблачение Азефа (1909 год) было страшной катастрофой самого Савинкова, он раскололся, раздвоился: на Савинкова и Ропшина. Последний мучительно переживал крах террора, который уже не мог возродиться после Азефа. Он написал повесть «Конь Бледный», где терроризм трактовался как сочетание двух начал: *религиозно-жертвенного* (оно воплощено в образе Вани, очень близкого по типу фигуре Каляева) и *революционного спорта* (Жорж — носитель последнего начала — назван «мастером красного цеха»). Организация, ставшая своей задачей осуществление систематического террора, могла возникнуть лишь на базе обоих этих начал, питаться из двух столь различных источников.

В то же время Савинков, находясь в эмиграции в Париже, выступает в партийной печати с заявлениями, призванными оградить террор от нападок и подозрений: «Не Азеф создал террор, не Азеф вдохнул в него жизнь! И Азефу не дано разрушить тот храм, которого он не строил», — заявлял Савинков на страницах газеты «Знамя труда» в 1909 году¹⁴. А в это же время в «Русской Мысли» Ропшин печатал повесть «Конь Бледный».

Еще ранее, в течение 1907—1908 годов, т. е. до разоблачения Азефа, Савинков пишет воспоминания — отдельные очерки, которые затем составят «Воспоминания террориста». Часть из них появилась в заграничном сборнике «Социалист-революционер» в 1909—1910 годах, а также в журнале «Былое». Дописывал он свои воспоминания уже после того, как дело Азефа стало достоянием гласности. Создается впечатление, что если бы только оказалось возможным, последняя глава книги просто не была бы написана: так не вяжется она с апологетически изложенной историей боевой организации. Автор воспоминаний, безусловно, Савинков, не Ропшин. Первый продолжал служить «подпольной

¹³ Бурцев В. Л. Как я разоблачал Азефа. «Провокатор: воспоминания и документы о разоблачении Азефа». Л., 1929, с. 260.

¹⁴ «Знамя труда», 1909, № 15.

России», а второй своими романами произвел целую бурю в России легальной, развенчав образ Общественного Героя. И все это — одновременно!

Сотрудник журнала «Былое» М. Горбунов вспоминал: «... В тот самый момент, когда мне приходилось знакомиться с мемуарами Савинкова,— а уносить их из собственной квартиры он тогда не разрешал,— на том же столе в его кабинете, за которым я занимался, лежала недавно полученная книжка «Русской Мысли» за 1909 год. Но совпадение во времени переходило здесь, конечно, далеко за пределы хронологии в узком смысле этого слова. Центральная фигура «Коня Бледного», который, как и мемуары, написан от первого лица,— террорист Жорж. Центральная фигура «Воспоминаний» — сам Савинков... Было бы нетрудно показать во всяком случае, что в «Коне Бледном» повторяются у Савинкова целые сцены из его же мемуаров... И наоборот, в мемуарах фигура Жоржа со всем, что для него характерно, то и дело, как бы заслоняет фигуру самого автора, а иногда просто становится на его место»¹⁵.

Да, если не брать в расчет образ Вани, религиозно-жертвенного террориста, то между автором повести и мемуаристом Савинковым непроходимой грани не видно. Действует как-бы один герой: но у Савинкова — с положительным знаком, у Ропшина — с отрицательным. Однако дело в том, что герой повести — некто Третий, остающийся за скобками повествования, в котором слились в один образ жертвенный Ваня и спортсмен Жорж. В «Воспоминаниях» нет и намек на этого Третьего. Все-таки они очень разные: Савинков и Ропшин. Они уже принадлежат двум альтернативным мирам: террорист остается в своем привычном, подпольном; писатель пробивает брешь из подполья наверх. Более того, если Ропшин становится символом *послереволюционного покаяния*, отхода интеллигенции от идеологии терроризма, то Савинков предпринимает последнюю попытку воскресить боевую организацию, неудача которой деморализовала эсеровских террористов и их поклонников окончательно. Попытка отчаянная и трагическая. Летом 1909 года в Париже Савинков создает новую боевую организацию. Но над ней тяготеет угроза предательства. Следует ряд разоблачений и таинственных самоубийств. Загадки разъяснились в 1917 году после раскрытия архивов охранки. Трое террористов из организации оказались провокаторами. Три провокатора в группе из 10—12 человек¹⁶! Это был конец. Над боевиками витал дух Азефа, Савинков оказался не властен над ним. К началу 1911 года группа распалась. Итог: бесславный конец эсеровского «большого террора» и... уход в небытие Савинкова. Ибо то существование, которое он вел с 1911 по 1914 год, было для него именно небытием: жизнь обывателя в маленькой французской деревушке, а с 1913 года в Ницце. Время текло медленно, внешне почти без событий. Это было лишь бледной тенью «прошлой жизни», в которой остались подвиги, риск, игра, партийная деятельность — все то, что и составляло смысл бытия Савинкова. Но... Здесь и начинается история Ропшина, история не менее интересная и захватывающая, чем террористическая эпопея Савинкова.

* * *

Начинающий писатель Ропшин очень скоро сделался известным и популярным среди интеллигентской публики. Практически каждая российская газета, каждый журнал предлагали своим читателям материалы о нем. Название повести «Конь Бледный» нередко обыгрывалось в дешевеньких юмористических журналах в уверенности, что намек будет легко понят¹⁷.

Как объяснить этот странный взлет писателя Ропшина, в «прошлой жизни» террориста Савинкова? Талантом, одаренностью, везением? Но после первой

¹⁵ Горбунов М. Савинков как мемуарист. «Каторга и ссылка», кн. 40, 1928, с. 175.

¹⁶ См. Горбунов М. Указ. соч.

¹⁷ Из юморески: писатель заявляет жене: «... У тебя не было бы манто, если бы не мой «Конь Павший». Понимаешь ли ты, о женщина, что твое дикое зеленое манто сшито из благородной шкуры моего павшего коня!». «Белый слон», 1911, № 5, с. 55—60.

русской революции много молодых одаренных беллетристов пытались писать о террористах, революционерах, жандармах, бомбах, экспроприациях. Однако бестселлером стал именно «Конь Бледный». Литературный критик «Биржевых Ведомостей» А. Измайлов свидетельствовал, что читатели единодушно выделили повесть Ропшина из «серых и тусклых сотен беллетристического хлама»¹⁸. Выделили, ибо почувствовали, что *так* о терроре можно писать, только зная его изнутри. Критик «Московского Еженедельника» предположил, что в лице автора нашумевшей повести публика встретила с очевидцем, «если не с самым главным участником описываемых событий»¹⁹. Так думали многие, хотя о том, что Ропшин — сам Савинков, знали единицы. Только в 1912 году, когда Ропшин выпустил новый «террористический» роман «То, чего не было», его псевдоним был раскрыт.

В правительственных сферах, похоже, вопросов об авторстве повести никогда не возникло. Если верить мемуарам А. Гучкова, то еще в 1909 году он доложил Столыпину о симптомах, указывающих на разложение революционного лагеря: «В это время появился роман Савинкова «Конь Бледный», который произвел впечатление. В свидании со Столыпиным я ему передал. По-моему, в этих кругах шло благотворное перерождение, какой-то надлом там шел, разочарование в методах»²⁰.

Итак, «Россия легальная», все ее слои увидели в «Коне Бледном» документ, вышедший из недр «подпольной России». Художественная сторона повести мало интересовала публику, которая оценила в ней прежде всего «документ огромной важности»²¹. Сам Ропшин предстал перед легальной Россией как некий проводник; в «подполье», как человек, одновременно причастный обоим мирам. Он раскрывал секреты «подполья», его страшные тайны, его скрытые дружины. Шлюзы между двумя Россиями были прорваны, и сделать это мог только человек из подполья, человек уровня Савинкова. Для того чтобы снять табу с обсуждения и осмысления Общественного Героя, разрушить недоступный для простых смертных пьедестал сакральности, на котором он высился, требовалась *причастность* Общественному Герою. На Савинкова-Ропшина, безусловно, падал отблеск героической святости, что давало ему моральное право в глазах «России легальной» публично поднимать темы, запретные для других.

В этом кроется удивительный феномен Ропшина. И если раньше Общественный Герой, безусловно, принадлежал «подпольной России», то в новой ситуации интересен становится персонаж, выпадающий из подполья или пребывающий на «нейтральной полосе» между подпольем и «верхом»²².

Раздвоенность и одновременно внеаходимость Савинкова-Ропшина, казалось, не слишком удивляла современников. Да и не так нова она была для России. Вспомним известную притчу о Г. Успенском (тесте Савинкова). Во время предсмертной душевной болезни ему казалось, что он состоит из двух личностей — Глеба, ангела Господня, и Иваныча, представлявшегося больному в образе свиньи. Эту бредовую идею в период «безвременья» использовал Мережковский превратив ее в универсальную метафору российской интеллигентности. Ужас трагедии, переживаемой российской интеллигенцией, Мережковский видел «не в языческом героизме или простом «сумасшествии» Глеба, а в их слиянии, сращении, в том, что с одинаковой возможностью свинья превращается в ангела и

¹⁸ Измайлов А. То, чего не было (новый роман В. Ропшина). «Биржевые Ведомости», 1 1912.

¹⁹ Поливанов В. Большая Россия. «Московский Еженедельник», 1910, № 3, с. 54.

²⁰ «Александр Иванович Гучков рассказывает... Воспоминания председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства». М., 1993, с. 114.

²¹ Колтоновская Е. Самоценность жизни: эволюция в интеллигентской психологии. «Образование», 1909, № 5, с. 107.

²² Именно там, на мой взгляд, «подвешен» герой романа Андрея Белого «Петербург». И ведь что интересно: Савинков действительно в каком-то смысле вдохновил Белого, который еще в 1905 году от жены Ремизова узнал о разочаровании Савинкова в терроре и его религиозных исканиях. См. Белый Андрей. Между двух революций. Воспоминания. Кн. 3. М., 1990.

ангел в свинью»²³. В этом контексте феномен Савинкова-Ропшина прочитывается Жак *предельное* воплощение интеллигентской раздвоенности, ее причастности двум мирам внутри России. И, может быть, поэтому Мережковский объявил повесть Ропшина «самой русской» книгой современности, «по какой можно судить о будущем России». Причем «Коня Бледного» он поставил сразу после произведений Л. Толстого и Ф. Достоевского²⁴.

Чтобы представить, чем явился «Конь Бледный» для подполья, обратимся к одному, чрезвычайно показательному примеру. Старая эсерка, Б. Бабина, пережившая революции 1917 года, сталинский террор, достигнув 90-летнего возраста, на упоминание о Савинкове реагировала так, будто все произошло вчера: «... это был совсем аморальный человек, у него не было этики. Помните, он проповедовал: «Почему нельзя убить мужа своей любовницы, но можно убить министра? Если вообще можно убить человека, то безразлично, кого и по каким мотивам». Это он нам преподнес в 1909 году. Вся наша эсеровская молодежь была глубоко возмущена»²⁵.

Интересно, что в 1909 году, когда молодые эсеры под влиянием «Коня Бледного» кончали с жизнью, официальная партийная верхушка отмалчивалась. Эсеровские идеологи были подавлены разоблачением провокации Азефа, в адрес ЦК раздавались обвинения — до Ропшина ли тут! Тем более, что Савинков — тогда еще член ЦК — в партийной печати активно защищал честь террора и руководителей партии. Но в 1912 году, когда новый эсеровский журнал «Заветы», специально посвященный морально-этическим проблемам революции, объявил о публикации нового романа Ропшина «То, чего не было», партия насторожилась и приготовилась отразить удар. Двадцать два видных эсера прислали в редакцию «Заветов» письмо-протест против публикации этого романа, отрицавшего моральную правоту действий революционеров. Редакция оправдывалась: если «друг и сторонник какого-нибудь направления и может где-нибудь критиковать его прошлое, то уж никак не в органах чужих ему или враждебных»²⁶. В. Чернов с опозданием на три года разразился огромной статьей, посвященной повести «Конь Бледный». Он писал, что Ропшин проповедует «моральный максимализм». Но люди живут в «полузоологическом мире» и, соответственно, могут ограничиться «моральным минимумом». Конечно, ради приближения светлого будущего, «морального максимума»²⁷.

В ход была пущена «тяжелая артиллерия». Эсеровский литературный критик Р. Иванов-Разумник выступил по поводу романа «То, чего не было»: в нем нет революции и нет революционеров²⁸. Однако Ропшин показался читателям убедительнее партийной пропаганды. На страницах журнала «Современный мир» В. Львов-Рогачевский предположил, что со свидетельством Ропшина, «облеченным в художественную форму, будут больше считаться, чем с «Двумя безднами» Чернова (статья о «Коне Бледном». — М. М.) чем с объяснениями редакции...»²⁹.

В партийных низах в то же время шли сложные процессы переоценки ценностей, люди уходили из партии или замыкались в своем фанатизме. Последние ненавидели Ропшина. На Зерентуйской каторге проходили литературные суды над произведениями Ропшина, и бывший его подчиненный, террорист Е. Сазонов, защищал Савинкова от нападков каторжан. Один против всех! Сазонов заявил, что Ропшин искренен до конца, что в каждом террористе действительно присутствуют Ваня-святой и Жорж-профессиональный убийца.

В письме сестре бывший террорист описал итог своей борьбы с возмущенными

²³ Мережковский Д. Иваныч и Глеб. В кн. Мережковский Д. Большая Россия. СПб., 1910, с. 43.

²⁴ См. Мережковский Д. Указ. соч., с. 19.

²⁵ Беседа с Б. Бабиной (записал Н. Бармин). «Минувшее». Вып. 1. М., 1990, с. 387—388.

²⁶ Ответ редакции. «Заветы», 1912, № 8, с. 145.

²⁷ См. Чернов В. Две бездны. «Заветы», 1912, № 8.

²⁸ См. Иванов-Разумник. Было или не было? О романе В. Ропшина. «Заветы», 1913, № 4.

²⁹ Львов-Рогачевский В. Без темы и без героя. «Современный мир», 1913, № 1, с. 112.

противниками Ропшина: «... многие из товарищей продолжают говорить: мы не Вани и не Жоржи, но теперь они уже говорят об этом без презрения и ненависти к В. и Ж. Они поняли того и другого, одного полюбили, а другого уважают, и совсем бросили свое прежнее намерение указать им на дверь, дескать уберите поскорее от „нас“»³⁰.

Характерно, что Ропшина как «своего» привлекли к ответу, вызвали на суд, пусть и литературный, но суд — над писателем и его произведением. В «легальной» России так поступить не посмели бы: Ропшин из подполья, ему виднее, он имеет право писать так, как считает нужным. Но зато «своего» вполне можно привлечь, подобно тому как революционеры-каторжане не церемонятся со «своим» Савинковым-Ропшиным.

Подобно этому в «легальной» России общественность также привлекала к ответственности писателей. В 1909 году литературный суд Санкт-Петербургского университета рассматривал общественное обвинение писателей М. Арцыбашева, М. Кузьмина и Ф. Сологуба в порнографии. Несмотря на недовольство присяжных, Арцыбашев и Кузьмин усилиями защитников были оправданы. Зато Сологуба обвинили в садистских пристрастиях, пропагандируемых в «Навях чарах». Суд в соответствии с «Уложением о наказаниях» приговорил писателя к аресту на один месяц, а роман к уничтожению (!)³¹.

Точно так же партийные критики требовали уничтожения ропшинских произведений и изгнания самого автора из партийного журнала. Мы вновь сталкиваемся с очевидной зеркальностью двух России, в данном эпизоде — зеркальностью как цитатой. Студенты Санкт-Петербурга просто повторили то, что давно практиковалось в «подпольной России». Собственный суд подчеркивал автономию подполья. Правда, были и различия. Вспомним суд над Бурцевым, превратившийся в суд над Азефом. Он вовсе не был выстроен по тем правилам, которыми руководствовались судьи Арцыбашева и Кузьмина, привлечшие к нему защитников и присяжных. Партийный суд, скорее, напоминал революционный трибунал: тройка авторитетных в своей среде судей, отсутствие обвинения и защиты. Однако суть-то та же: именно «свои» имеют моральное и законное право судить «своих», вне официальных государственных структур, созданных для использования судебных функций. Студенты, подобно людям подполья, не признают государство, но... в то же время пользуются государственным законодательством. Апелляция одновременно к подполью и государству, к авторитету того и другого. Вновь то же межеумочное состояние: между двумя авторитетами, между двумя Россиями.

* * *

Думается, можно говорить об изживании этой раздвоенности на излете «безвременья», к 1913 году: значительная часть населения страны повернулась лицом к государству, попыталась интегрироваться в «Россию легальную». Другие укрепились в своем фанатизме, апофеозом которого явилась «партия нового типа» — большевистская. Но наш герой — Савинков-Ропшин — так и остался для России символом раздвоенности. В 1911 году он окончательно решил эмигрировать. Бурный 1913 год, позволивший переключить общественную активность в сферу экономики и частной жизни, способствовал спаду популярности Ропшина. Он все меньше интересовал российского обывателя.

Наступил 1914-й год — мировая война застала Савинкова в Париже. Он не едет в Россию, а идет работать военным корреспондентом. С этого момента в журнале «Нива» появляется рубрика «На западном фронте», которую ведет Ропшин. Кажется, он нашел себя: форма очерка соответствует его писательской манере, каждый очерк в отдельности замечателен, а весь военный цикл создает не

³⁰ «Егор Сазонов: материалы для биографии. Письма. Документы. Портреты». М., 1919, с. 80.

³¹ Отчеты о литературных судах см. Е. С. О студентах. «Мир», 1909, №8 9—10.

только живую картину жизни фронта, но и какой-то совершенно новый, неожиданный образ Савинкова-Ропшина.

Дело в том, что в нем исчезла раздвоенность: перед нами цельный, мужественный человек, который твердо знает, чего хочет и за что борется. В очерках Савинкова алжирский солдат храбро дерется за Францию³², а старый капрал-бельгиец с гордостью рассказывает, как воевал в Сен-Жерже плечом к плечу с бельгийским королем Альбертом I. Кажется, что Савинков умиляется этим трогательным единством монарха и народа, наличием у них общих интересов, естественным уважением маленького человека к власти, подкрепленным авторитетом конкретного короля. Очерк заканчивается словами, которые невозможно было представить ни в устах Савинкова, ни в устах Ропшина еще пару лет назад: «Да здравствует Король Альберт I. Дай Бог ему долго жить!»³³.

Довольно формальное, торжественное обращение в сочетании и искренним пожеланием долгой жизни королю создает ощущение каких-то давних, уже освященных традицией естественных отношений между государством в лице Альберта I и народом, представленным стариком-капралом. Кажется, Савинков обрел новый идеал, представил ситуацию, в которой и ему нашлось бы место в сфере легального государственного, общенационального, общенародного организма. Российская империя на всех парах неслась к своему концу, а Савинков переживал взлет, подъем, готовился к новой жизни. Теперь, обновленный, он мог бы стать не символом российского раскола, а здоровым, творческим элементом общества. Казалось, Февраль 1917 года дал ему шанс. Савинков вернулся в Россию...

«Узнал из газет, что приехал Савинков,— записал Ремизов.— А сегодня днем на звонок открываю дверь — Савинков! Сколько лет не виделись. В последний раз в 1906 году весной, перед Севастополем. А все такой же, нет, еще каменнее, а глаза еще невиднее, совсем спрятались. Разговорились о стихах... А я все хотел спросить: помнит ли он, как еще в Вологде однажды я вот, как теперь, задал вопрос: «Революция или чай пить?». Понял ли он — двадцать лет прошло! — что меня тогда мучило?»³⁴.

Ремизов не задал тогда заветный вопрос, а жаль. Может быть, наши предположения подтвердились бы: Савинков понял ремизовское «чай пить», с тем и ехал в Россию. Только дома как раз шла революция, а мир все еще воевал. «Чай» откладывался. Савинков становится помощником и единомышленником Керенского, с воодушевлением принимает предложение стать комиссаром VII армии. Чем ближе к Октябрю, тем отчаяннее его попытка сохранить завоевания Февраля, а значит — и свое место в будущем свободном государстве. Постоянно поддерживавшая с ним связь З. Гиппиус записала в дневнике 9 августа 1917 года: «Савинков понимает и положение дел, и вообще все, самым блистательным образом. И я должна тут же, сразу сказать: при всей моей к нему зрячести я не вижу, чтобы Савинковым двигало сейчас его громадное честолюбие. Напротив, я утверждаю, что главный двигатель его во всем этом деле (речь идет о проекте Савинкова создать тандем Керенский-Корнилов — М. М.) подлинная, умная, любовь к России и к ее свободе. Его честолюбие — на втором плане, где его присутствие даже требуется»³⁵.

После большевистского переворота следуют отчаянные попытки борьбы с большевиками, блоки с кем-угодно, от монархистов до анархистов. Но это уже — за рамками нашей статьи, ибо история Савинкова-Ропшина кончилась, он не реализовал свой последний шанс. Так же, как и Россия — выйдя на путь оздоровления и не удержавшись на нем. Вся последующая история Савинкова повторяется как фарс: вновь эмиграция, временный спад активности, возвращение в

³² См. Р о п ш и н В. Гуссейн-бен-Абдалла. «Нива», 1916, № 22.

³³ Р о п ш и н В. Рассказ сержанта. «Нива», 1916, № 24.

³⁴ Р е м и з о в А. М. Вихреная Русь: автобиографическое повествование. В розовом блеске. М., 1990, с. 90.

³⁵ Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914—1919. Нью-Йорк, 1990, с. 42.

Россию... Но это уже агония. Савинков умер в застенках ГПУ, вернулся, поддавшись на провокацию чекистов. Есть веские основания полагать, что ему «помогли» выбраться из окна тюрьмы.

Савинков-Ропшин — символ российской раздвоенности, а потом и преодоления этой раздвоенности — оказался банкротом. А ведь какой плодотворной казалась проходившая в нем перемена: побеждал не Савинков и не Ропшин, а новый, сильный человек, не знающий коллизии «Глебов и Ивановы». Так же и Россия: накануне первой мировой войны из распада подполья и модернизации «верха» формировались некая новая государственность, общенациональное единение. Война, революция, гражданское противостояние, распыление общества на мелкие враждебные страты, мощная традиционалистская реакция — в итоге Россия и ее Герой оказались банкротами. Страна совершила самоубийство. Савинков погиб насильственной смертью.

Подобно России начала XX века, охваченной эсхатологическими ожиданиями, Савинков-Ропшин жил с ощущением собственного страшного конца. Стихи, которые он писал в годы расцвета боевой организации эсеров, посвящены не жертвам террористов, а предчувствию собственной смерти:

Когда принесут мой гроб,
Пес домашний залает,
Жена поцелует в лоб,
А потом меня закопают...

Окружающие чувствовали в Савинкове-Ропшине эту предсмертную тоску. Ремизов писал: «... его смерть мне представляется понятной: рано или поздно он должен был уничтожить и самого себя»³⁷.

Гиппиус в 1917 году напомнила Савинкову его ранние стихи:

... Убийца в храм Христов не вникнет:
Его истопчет бледный конь,
И царь царей возненавидет.

Савинков «странно посмотрел» на Зинаиду Николаевну и сказал: «Да, да. Так это и будет. Я знаю, что я... умру от покушения». «Это был вовсе не страх смерти. Было что-то больше этого», — резюмирует Гиппиус в дневнике³⁸.

Может быть, именно ему, этому талантливому, странному человеку выпало на долю воплотить в своей собственной биографии метафизическую судьбу России. Он навсегда остался не только символом рокового раскола, не только примером попытки его преодоления, но и жалким путником, сбившимся с пути, мучающимся за грехи свои:

... Никогда не свершится божье чудо,
Никогда не простится мой грех Исава,
Голубая отравка
Сразу
Меня убила...
Пожалей меня, мальчик мой милый...

³⁶ Цит. по: Гуль Р. Азеф. М., 1991.

³⁷ Ремизов А. Иверень, с. 67.

³⁸ Гиппиус З. Указ. соч., с. 155.

³⁹ Цит. по: Крылов Г. Загадка поэта-террориста. «Поэзия», 1990, № 55, с. 195.